
ЕВА ЗИМИНА
Огненная наставница и два дракона

Ева Зимина

Огненная наставница и два дракона

«Автор»
2026

Зимина Е.

Огненная наставница и два дракона / Е. Зимина — «Автор», 2026

Новая история из мира «Драконов Севера». Читается отдельно.Год назад у Зимнего костра я дала слово огню — пламя встало столбом при всех. А потом я выгорела и не помню из той ночи ни одного звука.Ледяной дракон Бранимир Студенцов уверен, что слово было ему: он слышал мой голос и видел мой синий плащ. Огненный дракон Тарас Кальдор, мой вечный соперник по урокам, при всех назвал меня своей парой. А советница ведомства дала мне сорок дней: исполнить слово — или стать словоломкой и потерять учеников.Я учу детей держать огонь и вовремя замечать выгор. Теперь мне самой придётся искать правду, как на уроке: по свидетелям, по следам, по признакам. И понять, почему моя старшая ученица весь год не может посмотреть мне в глаза.Огонь — свидетель честный, да глухой: что сказали — слышит, а кому — не разбирает.

© Зимина Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Урок выгора 5
Глава 2. Слово огню 11
Глава 3. Свидетели 17
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Ева Зимина
Огненная наставница и два дракона

Глава 1. Урок выгора

— Кто скажет, как понять, что ты выгораешь? — спросила я. — Только не хором. Хором у нас поют, а не горят.

Семь рук поднялись разом. Шесть — с огоньком над ладонью, маленьким, ровным, как я учила: не больше ногтя, не выше пальца. Седьмая — без огонька, потому что Тимке семь лет, и он, когда тянет руку, забывает, что держит огонь, и огонь от этого гаснет. Тимка каждый раз ужасно огорчается и каждый раз тянет снова.

— Вьюна, — сказала я.

Вьюна встала. Вьюне десять, она рыжая, как беличий хвост, и говорит так быстро, что огонь у неё над ладонью от каждого слова приседает.

— Пальцы холодеют, — затараторила она. — Сначала кончики, потом до второго сустава. Во рту как будто медяк сосёшь. В ушах звенит. А огонь бледнеет — был рыжий, стал белый, а белый — это уже совсем плохо, это значит, ты не свой огонь держишь, а себя.

— Пять, — сказала я. — Садись. Огонь опусти, он у тебя от радости до бровей вырос.

Вьюна села, сияя. Огонь у неё над ладонью действительно был выше, чем нужно, и я видела, как она его прижимает — сосредоточенно, высунув кончик языка.

Мы сидели в стеклянном саду. Его здесь так называют все, кроме ведомства, — в бумагах он «зимний учебный покой», а дети говорят «под стеклом». Когда-то на этом месте была тюрьма — Стылый Зуб, — и в ней людей, у которых был дар, держали в темноте и выцеживали из них силу, как сок из ягоды. Тюрьму разобрали четыре года назад, оставили только наружные стены, а внутри поставили стеклянную крышу на чугунных рёбрах, и под крышей вырос сад. Посреди Севера, где в это время года по утрам на лужах лёд толщиной в палец, — сад. Лимоны в кадках. Какие-то южные кусты с листьями, как у фикуса, которые Тарас называл непонятным словом и обижался, что я не могу его выговорить. Вода в каменной чаше, тёплая, — снизу, из земли, где ещё дальше, ещё глубже, под самым Нордхольмом, бьётся Сердце Севера.

Огненных учеников у меня было семеро. Мы сидели кругом на войлочных подстилках вокруг железной жаровни, и за стеклом, во дворе, шёл первый настоящий снег.

— А что бывает, когда выгоришь? — спросил Олежка. Ему восемь, он серьёзный, как старый счетовод, и записывает за мной в тетрадку то, что считает важным. — Совсем?

— Совсем — не бывает, — сказала я. — Если вовремя остановиться. Огонь — он как колодец. Сколько бы ты ни черпал, на дне ещё есть. Но если черпать быстрее, чем набирается, — дно пересыхает. Тогда ты падаешь. Спишь. Долго. Сутки, двое. А когда просыпаешься… — я помолчала. Не потому, что не знала, что сказать. Потому что знала. — Когда просыпаешься, ты не помнишь последних часов. Перед тем как выгорел. Совсем. Как будто их вырезали ножом.

— А потом вспоминаешь? — спросила Нелька. Её брат-близнец Лёвка в тот же миг спросил: — А вырезанное куда девается?

Они всегда спрашивают одновременно и всегда разное.

— Не вспоминаешь, — сказала я Нельке. — И никуда не девается, — сказала я Лёвке. — Оно сгорает. Это огонь берёт плату. Он берёт то, что ближе всего, — последнее, что ты видел, слышал, думал. Поэтому выгорать нельзя. Не потому, что больно. Потому, что потом ты не будешь знать, что ты делал.

— А вы выгорали? — спросила Вьюна.

Шесть огоньков над шестью ладонями замерли. Тимкин — тоже, потому что Тимка как раз опять его зажёг.

Я могла соврать. Наставник, который говорит детям «я тоже так делала», — плохой наставник, он учит не тому. Но наставник, который врёт детям, — ещё хуже. И к тому же они знали. Весь дом знал. Весь Север, кажется, знал.

— Да, — сказала я. — Один раз. Прошлой зимой, на Зимнем костре.

Кто-то охнул. Огонёк над ладонью Ташки — она сидела напротив меня, за жаровней, — дрогнул, вспыхнул выше головы, жёлто-белый, рваный, и погас. Ташка уронила руку на колени и уставилась в пол.

Ташке одиннадцать. Она у нас старшая. И самая трудная: огонь у неё не ровный, а рваный — то спит, то рвётся вверх, как из печи, которую слишком резко открыли. С такими детьми нужно терпение и ещё раз терпение. Я его, кажется, за год потеряла, нашла и опять потеряла: Ташка с прошлой зимы почти не говорит со мной. Отвечает на уроках, если спрошу. Делает всё, что надо. Но если я подхожу ближе чем на шаг — отходит. Если касаюсь плеча — дёргается.

Я не знала почему. Я думала — из-за того вечера. Ей тогда было страшно: на её глазах наставница упала в снег и не вставала до следующего дня. Наверное, страшно до сих пор.

— Ташка, — сказала я мягко. — Зажги снова. Не торопись.

Ташка зажгла. Огонёк вышел маленький, бледный, жалкий. Она смотрела на него, а не на меня.

— Вот, — сказала я остальным. — Видите? Ташка испугалась — и огонь отозвался. Огонь всегда отзывается. Он не глупее вас. Это не вы его держите — это вы с ним договариваетесь. Как с лошадью. Испугаешься — понесёт.

— А как вы выгорели? — не унималась Вьюна. — Расскажите!

— Не могу, — сказала я. — Я не помню. Мне рассказывали.

— Кто?

— Все, — сказала я. — Все, кроме меня.

За стеклянной перегородкой, которая делила сад пополам, — с той стороны тоже стояла жаровня и тоже сидели дети, только постарше и не только огненные, — раздался громкий, весёлый, южный голос:

— А у нас на Юге говорят, что выгорает тот, кто огня боится! Кто не боится — тот не выгорит никогда!

Я закрыла глаза. Сосчитала до трёх.

— У вас на Юге, — сказала я, не повышая голоса, но так, чтобы через стекло было слышно, — говорят много чего. Например, что снег бывает только в сказках. А потом вы приезжаете к нам в трёх шарфах.

За перегородкой захохотали — его ученики, двенадцати-тринадцатилетние, огненные, ледяной мальчик Стёпа и девочка-травница, которых ведомство отдало Тарасу на «общий курс дара». Захохотал и он сам. Тарас Кальдор хохочет так, что стекло в рёбрах звенит.

Через минуту он появился в проёме. Высокий, смуглый, с чёрными кудрями, которые никакая шапка не брала, в двух шарфах — третий, видимо, остался на стуле, — и в тёплом южном кафтане, слишком ярком для Севера, червонном с золотом. Он оперся о косяк и посмотрел на моих детей так, будто они были его.

— Госпожа Искрова, — сказал он. — Можно на минуту украсть вашу Вьюну? У меня Стёпа не верит, что огонь можно держать на ладони, не обжигаясь. Мне нужен свидетель.

— Вьюна сейчас на уроке.

— Вьюна сейчас на вашем уроке, — согласился он. — А могла бы на моём. На моём интереснее.

— Ваш урок, господин Кальдор, через стенку, и я его слышу. Он громче.

— Громче — значит, интереснее, — сказал Тарас и подмигнул Вьюне.

Вьюна покраснела до корней рыжих волос и посмотрела на меня. Я вздохнула.

— Иди, — сказала я. — Пять минут. Покажешь Стёпе огонь и вернёшься. Если вернёшься через шесть — два.

Вьюна вскочила и умчалась за перегородку. Тарас посторонился, пропуская её, и задержался в проёме.

— Вы им про выгор рассказываете, — сказал он. Уже не громко.

— Рассказываю.

— Про себя тоже?

— Они спросили.

Он смотрел на меня. У него глаза тёмные, южные, с золотой искрой — у Кальдоров у всех такие, я видела его кузена Эйдана один раз, когда Мира брала меня с собой на Юг, и у того были такие же. Только у Эйдана они были как у человека, который давно разучился смеяться и учится заново. А у Тараса — как у человека, который никогда не разучивался.

Сейчас он не смеялся.

— Велена, — сказал он. — Он сегодня приедет.

— Знаю. Сегодня неделя.

— Сегодня сорок дней.

— Знаю, — повторила я.

Тарас постоял ещё. Потом сказал: «Ну, если что — я за стенкой», — и ушёл за перегородку, откуда через секунду донёсся Вьюнин визг и восторженный голос Стёпы: «Не жжётся! Правда не жжётся!»

Я повернулась к своим.

— Итак, — сказала я. — Признаки выгора. Олежка, записал?

— Записал, — сказал Олежка. — Пальцы, медяк, звон, белый огонь. И ещё — «не будешь знать, что делал». Я это подчеркнул. Два раза.

— Правильно, — сказала я. — Подчеркни третий.

Мы занимались ещё полчаса. Я учила их ловить первый признак: поднести огонёк к щеке и почувствовать, тёплый он или уже прохладный; если прохладный — значит, ты отдаёшь больше, чем берёшь, и надо гасить. Это просто. Это так просто, что взрослые огненные, которых всю жизнь учили прятать дар, а не держать, этого не знают. Я тоже не знала, пока Мира меня не научила. Я в двадцать три года сидела вот так же, на войлоке, перед жаровней, рядом с восьмилетней Тильдой, и подносила огонёк к щеке, и Мира говорила мне: «Не торопись. Ты не опаздываешь. Ты двадцать три года опаздывала — теперь можно не торопиться».

Вьюна вернулась через пять минут, запыхавшаяся, счастливая. Тимка в восьмой раз зажёг огонёк и наконец не забыл про него, когда поднял руку, — и огонёк не погас, и Тимка от восторга чуть не заплакал. Лёвка с Нелькой поспорили, у кого огонь теплее, и проверили друг на друге, и оба ойкнули, и оба получили от меня «два» за то, что жгут товарища, и «пять» за то, что вовремя отдёрнули. Ташка держала свой бледный огонёк и не смотрела на меня.

Ярош сидел тихо.

Ярош — самый тихий. Ему девять. Он беловолосый, почти прозрачный, с ледяными серыми глазами — у всех Студенцовых такие, — и с огнём, который у ледяных драконов не рождается никогда. А у Яроша родился. Его огонь — синеватый, холодного цвета, как пламя от спирта, и горит тихо, без треска. Он очень его стыдится. Он держит его так, будто это чужая вещь, которую ему дали подержать и вот-вот отберут.

— Ярош, — сказала я. — Ты сегодня молчишь.

— Сегодня брат приедет, — сказал Ярош.

— Знаю.

— Он вас опять будет спрашивать.

Я посмотрела на него. Ярош смотрел на свой огонёк — синеватый, ровный.

— Будет, — сказала я.

— Вы ему ответите?

Шесть голов повернулись ко мне. Даже Ташка подняла глаза — на миг, — и опустила.

— Отвечу, когда буду знать, что отвечать, — сказала я. — Урок окончен. Гасите. Не хлопком — дыханием. Медленно. Вот так.

Они погасили. Семь огоньков, один за другим, ушли в ладони, и в саду стало темнее, и за стеклом было видно, как падает снег — крупный, медленный, первый.

Савка, наш конюх, застучал в стекло снаружи раньше, чем я успела отпустить детей. Он махал рукой и показывал на ворота. Ярош вскочил первый.

Бранимир Студенцов ждал у ворот, как всегда. Он никогда не въезжал во двор, пока его не позовут, — оставлял коня у коновязи за стеной и стоял у калитки, в снегу, в долгополой шубе, без шапки. Высокий, широкий, белый — волосы белые, брови белые, ресницы белые; ледяные драконы дома Студенцовых все такие, будто их вылепили из одного сугроба. Лицо спокойное, тяжёлое, доброе. Глаза — серые, светлые, как у Яроша.

Ярош выбежал к нему без шапки, и Бранимир поймал его, поднял и обнял — молча, долго, — и поставил на снег, и надел на него свою шапку, которая у него, оказывается, всё-таки была, — за пазухой. Шапка съехала Ярошу до подбородка. Ярош засмеялся из-под неё.

— Иди в дом, — сказал Бранимир брату. — Я сейчас.

Ярош посмотрел на меня, на него и убежал.

Бранимир подошёл. Не близко — на три шага. Он всегда останавливался на три шага, никогда ближе.

— Госпожа Искрова, — сказал он и поклонился. Не низко, по-северному, — наклонил голову и выпрямился.

— Господин Студенцов.

— Ярош хорошо?

— Ярош хорошо. Сегодня держал огонь весь урок, ни разу не погас. Синий, ровный. Лучше всех.

Бранимир кивнул. Я видела, как у него дрогнуло что-то в лице — там, где у людей бывает улыбка, а у ледяных драконов, кажется, только тень улыбки, как тень облака на снегу.

— Хорошо, — сказал он. — Спасибо.

Мы помолчали. Снег падал ему на волосы и не таял — ледяные драконы холодные сами по себе, на них снег лежит, как на камне.

— Сегодня сорок дней, — сказал он.

— Я знаю.

— Я не тороплю, — сказал он. Голос у него медленный, глубокий, каждое слово — отдельно, как будто он кладёт их по одному на стол. — Я напоминаю. Вы мне сказали слово у огня. Я его слышал. Огонь его взял — это видели все. До следующего костра его надо исполнить. Или сказать при всех, что слова не было. — Он помолчал. — Я не прошу вас ни о чём, чего бы вы мне не сказали сами.

— Я не помню, что я вам сказала, — сказала я. Я говорила ему это каждую неделю с весны. Каждую неделю — те же слова.

— Я знаю, — сказал он. Он тоже каждую неделю говорил одно и то же. — Я помню за вас.

— А если вы помните неправильно?

Он посмотрел на меня без обиды, внимательно. Он вообще никогда не обижался — это было хуже всего. С обиженным можно поссориться.

— Я слышал ваш голос, — сказал он. — Я знаю ваш голос, госпожа Искрова. Я его слушаю каждую неделю с прошлой осени, когда привёз Яроша. Я его ни с чьим не спутаю.

— А лицо? Вы видели моё лицо?

Он помолчал.

— Был дым, — сказал он. — И огонь между нами. Но я видел ваш плащ. Синий, с красной подкладкой. Такой на Севере один.

Плащ мне подарила Мира, когда я в первый раз зажгла огонь при людях и не спрятала. Синий, тёплый, двойной шерсти, с подкладкой цвета огня. Такой на Севере действительно был один.

— Хорошо, — сказала я. Ничего хорошего не было. — Через неделю.

— Через неделю, — согласился он. Поклонился. И пошёл в дом — к брату.

Я осталась у ворот.

Сани Лютовой въехали во двор через четверть часа. Я их узнала издали — чёрные, казённые, с гербом ведомства на дверце: серебряная рука, держащая огонёк, а над огоньком — ключ. Иветта сама выбирала герб. Говорили, она хотела без ключа, но ей объяснили, что без ключа это похоже на поджог.

Северина Лютова вышла из саней, не дожидаясь, пока Савка подаст руку. Сухая, прямая, в тёмно-сером, в меховой шапке, под которой волосы убраны так гладко, что, казалось, их не было вовсе. Лет пятидесяти пяти. Лицо узкое, умное, без единой лишней черты, будто его тоже убрали гладко. Глаза — серые. Не как у Студенцовых, не ледяные — просто серые, как вода в кадке.

— Госпожа Искрова, — сказала она. — Хорошо, что вы здесь. Не нужно будет посылать за вами.

— Госпожа советница.

Она достала из рукава бумагу. Сложенную вдвое, с печатью ведомства.

— Это вам, — сказала она. — Прочтите сейчас, пожалуйста. Я подожду.

Я развернула.

«Северное отделение ведомства по попечению одарённых. Наставнице огненного отделения дома в Стылом Зубе В. Искровой. Уведомление. По обычаю края, изложенному в Северном уложении о свидетельствах (ст. 31, о костровом слове), и по правилу ведомства о чистоте слова наставников (п. 7) уведомляем: слово, данное Вами у Зимнего костра прошлого года при свидетелях и принятое огнём, не исполнено и не оспорено по сей день. Согласно обычаю, до ближайшего Зимнего костра (сорок дней от сего числа) слово надлежит исполнить либо оспорить при свидетелях с доказательством. В противном случае Вы признаётесь не исполнившей слова, и по п. 7 правил ведомства отстраняетесь от наставничества. Огненное отделение дома в Стылом Зубе в отсутствие наставника ведомства подлежит закрытию; воспитанники — переводу в Зелёную Обитель (южная школа огня, Пепельные пустоши), где имеются наставники огня. С уважением, советница С. Лютова».

Я прочла дважды. Потом подняла глаза.

— «Исполнить», — сказала я. — Это значит — выйти за Студенцова.

— Это значит — исполнить то, что вы обещали, — сказала Лютова. — Что именно вы обещали — знаете вы. И он.

— Я не знаю. Я выгорела.

— Мне это известно, — сказала Лютова. — Мне очень жаль. Поэтому я не стала просить вашего отстранения сразу, по пункту седьмому: срок вам — до самого костра, как по обычаю.

— А если я исполню? — Я сложила бумагу. — Если уйду в дом Студенцовых?

— Тогда вы уйдёте из дома в Стылом Зубе, — сказала Лютова ровно. — Наставница, вступившая в брак в пограничном доме, по правилам ведомства живёт в доме мужа. Пограничная застава Студенцовых в дне пути отсюда. Вести уроки оттуда вы не сможете.

— Тогда отделение закроют.

— Тогда отделение закроют, — согласилась она. — Тарас Кальдор — гость Юга, он не наставник ведомства. Без вас здесь нет наставника огня.

— А дети поедут на Юг.

— В Зелёную Обитель, — сказала Лютова. — Там тепло. Там двенадцать наставников огня, госпожа Лисанна Кальдор и вся школа. Там пепельная земля, которая не горит. — Там нет ледяных домов вокруг, которые боятся огня до сих пор. Это не наказание, госпожа Искрова. Это безопасность.

— Для кого?

Лютова посмотрела на меня спокойно, без злости — как Бранимир без обиды. Я подумала, что с этими двумя людьми мне за сорок дней будет очень трудно поссориться.

— Для всех, — сказала она. — Я была на пепелище Великой Гари, госпожа Искрова. Мне было пять лет. Я помню, что такое огонь, который никто не удержал. Вы — помните только то, что не выгорело.

Она села в сани. Савка подал ей вожжи — нет, вожжи держал её кучер, — Савка подал ей полость, укрыть ноги. Сани развернулись и уехали. Колея за ними сразу начала заметаться снегом.

Я стояла у ворот с бумагой в руке. За спиной, за стеклом, в саду, Тарас громко объяснял кому-то, почему на Юге снег — сказка. В доме, в сенях, Бранимир снимал шубу, и Ярош рассказывал ему, захлёбываясь, про синий ровный огонь. В людской Марфа гремела котлами.

Сорок дней.

Я не помнила того вечера. Я помнила его до заката: как дети строили во дворе снежную крепость; как Марфа пекла медовые лепёшки на всю ораву; как я помогала Савке тащить к озеру сушняк для костра; как поздоровалась с Бранимиром, когда он приехал к Ярошу, и он сказал «с наступающим», а я сказала «и вас». Как солнце садилось — низко, красно, за ельник у озера. Дальше — ничего. Ни костра, ни огня, ни слова. Следующее, что я помнила, — потолок своей комнаты, и Марфу, которая сидела рядом и плакала, и говорила: «Очнулась! Очнулась!» И был уже вечер следующего дня. И у меня болели руки — обе, от кончиков пальцев до локтей, — так, как болят руки, которыми долго держали горячее.

«Вы дали ему слово», — сказала Марфа. Это было второе, что я услышала, после «очнулась».

Я развернула бумагу Лютовой ещё раз. «Слово… принятое огнём». Огонь принял — это видели все. Пламя встало выше человеческого роста — так рассказывали Марфа, и Савка, и Груня, и все, кто там был. Вспыхнуло и встало столбом, ровным, золотым, как бывает только от слова. Значит, я что-то сказала. Намеренно. Огонь не берёт ни случайного, ни пьяного, ни сказанного в шутку — только то, что говорят, зная, что говорят.

Я знала — тогда. А теперь нет.

Я подняла голову и увидела в окне второго этажа, в спальне старших девочек, Ташку. Она стояла у стекла и смотрела на меня. Лицо у неё было белое. Когда она поняла, что я её вижу, она отшатнулась от окна и пропала.

Я сложила бумагу вчетверо и сунула за пазуху. Потом сняла рукавицу, подняла правую ладонь — ту, на которой с детства белеет старый шрам, — и зажгла на ней огонёк. Маленький, ровный, не больше ногтя. Поднесла к щеке.

Тёплый.

«Не будешь знать, что делал», — записал Олежка и подчеркнул два раза.

Хорошо, подумала я. Значит, буду узнавать — как на уроке, по признакам.

У меня было сорок дней.

Глава 2. Слово огню

Северное уложение о свидетельствах лежало у нас в доме в одном экземпляре, в кабинете у Добравы, на верхней полке, под чучелом совы, которое Добрава называла «госпожа Ведомость». Добрава уехала весной, сова осталась. Уложение тоже.

Я сняла его наутро после Лютовой, в шестом часу, пока дети спали. Сдула пыль с совы — она смотрела на меня стеклянными глазами с явным неодобрением, — и с книги. Книга была толстая, в коже, с медными углами, и пахла так, как пахнут книги, которые никто не открывает: мышами и терпением.

Статья тридцать первая. «О костровом слове».

Я прочла её четыре раза. Потом переписала себе на грифельную доску, как переписываю детям то, что им надо выучить наизусть. Своими словами, коротко.

Первое. На Зимнем костре, в ночь солнцеворота, огонь принимает слово. Не всякое. Только намеренное — сказанное человеком, который знает, что обещает, и хочет обещать. Пьяное, шуточное, случайное, сказанное во сне или в бреду — огонь не берёт. Если берёт — пламя встаёт выше роста.

Второе. Принятое слово держит до следующего Зимнего костра. За это время его надо исполнить.

Третье. Слово можно оспорить: сказать при свидетелях, у огня или перед лицом власти, что оно было не таким, или не тому, или не о том. Но оспаривать надо с доказательством. Без доказательства оспоривший считается отрёкшимся.

Четвёртое. Не исполнивший и не оспоривший к сроку — словоломный.

И ниже, мелко, приписка — другими чернилами, явно позже: «Обычай сватовства через огонь (см. ст. 31-а) старше уложения и уложением не отменён».

Я нашла 31-а. Она была короткая.

«По старому обычаю северных деревень, у Зимнего костра мужчина может через огонь звать женщину: окликнуть по имени и сказать, о чём просит. Женщина отвечает словом. Если огонь встал — сговор признаётся. Сговор исполняется обрядом сочетания до следующего Зимнего костра либо разрывается по взаимному согласию при свидетелях».

По взаимному — я перечитала дважды.

Бранимир не согласится. Не потому, что упрям, хотя упрям он, как лёд на Студёной заставе. Потому, что он уверен: он слышал и помнит.

Я сидела в Добравином кабинете, под совой, с доской на коленях, и вспоминала, что мне рассказывали. Не то, что я помнила, — я помнила закат, — а то, что мне рассказывали потом. Слово в слово, как ученик пересказывает учителю урок, на котором его не было.

Марфа рассказывала так. «Ты стояла у самого огня. Он с той стороны. Он тебя окликнул — "Велена!" — и что-то сказал, я не слышала, ветер. А ты ему ответила — громко, на весь лёд. И пламя встало! Столбом! Выше ёлок! Золотое! Все ахнули. А ты — упала. Прямо в снег. Мы тебя на санях домой везли».

Марфа — повариха, ей шестьдесят, она добрая и любит, когда у людей свадьбы. Она рассказывала это так, будто читала мне сказку на ночь, и в конце всегда вздыхала: «Красиво было».

Савка рассказывал так. «Он позвал. Ты ответила. Огонь — вверх. Ты — вниз. Всё». Савке девятнадцать, он конюх и говорит со всеми, кроме лошадей, так, будто платит за каждое слово.

Груня, прачка, рассказывала так. «Я не видела, я с малыми у саней была, мы их домой собирали. Я только видела, как пламя встало. Ну, и все потом говорили».

Все потом говорили.

Я год не спрашивала дальше. Спросить значило признать, что слово было, — а все рассказывали одно и то же, и я кивала и молчала, как кивают, когда тебе пересказывают сон, которого ты не видела.

Сам Бранимир пришёл через неделю после костра. Я ещё лежала — руки уже не болели, но слабость была такая, что я ходила по стенке, — и Марфа впустила его ко мне в комнату и стояла в дверях, как стражник. Он остановился на три шага от кровати, как всегда, и сказал — медленно, отдельными словами:

— Госпожа Искрова. Я рад, что вы очнулись. Я пришёл сказать, что слово ваше я слышал и принимаю. Я понимаю, что вы больны. Я подожду.

Я сказала, что не помню. Он сказал: «Я знаю. Мне сказали про выгор». Я спросила, что я сказала. Он помолчал и ответил: «Вы сказали — я тебя не отдам».

«Я тебя не отдам».

Я лежала тогда и смотрела в потолок и пыталась понять, как я могла это сказать Бранимиру Студенцову. Я его знала — с осени, когда он привёз Яроша. Он мне нравился: спокойный, учтивый, любит брата, не боится огня, хотя весь его род боится. Мы здоровались. Мы разговаривали о Яроше. Он однажды привёз мне из заставы банку морошки, потому что Ярош сказал ему, что я люблю морошку, — и я была растрогана и смущена, и поблагодарила, и всё. Я не думала о нём. Как о мужчине — не думала. Я вообще мало думала о мужчинах в тот год. Я думала о детях, об отделении, о том, что ведомство обещало мне собственную школу огня на Севере, если отделение «покажет себя». Я думала о школе.

И вот — «я тебя не отдам». Ему, через огонь, на сговоре.

Я не верила. Но огонь не врёт. Это я знала лучше всех на Севере: я всю жизнь пряталась от огня, который не врёт.

Весной это стало всеобщим делом.

Весной, на Ледоломе — так у нас называют праздник, когда лёд на озере трескается и уходит, — в дом приехала комиссия ведомства. Иветта прислала смотреть, как мы живём, — трое писарей, советница Лютова и ещё кто-то из столицы. Были гости, был обед, были дети в чистых рубашках, был урок огня, показательный, — я его вела, и Тарас его вёл, вдвоём, и ругались мы, кажется, громче, чем учили. А после обеда, во дворе, при всех, Бранимир Студенцов, который приехал к брату, подошёл ко мне — на три шага, как всегда, — и спросил громко, отчётливо, так, чтобы слышали все: когда я назначу обряд.

Он не хотел меня унизить. Я это знала уже тогда. Он просто считал, что спрашивать надо при свидетелях — раз слово было при свидетелях. Он был честный. В этом-то и была беда.

Я ответила, что не помню слова. Он ответил: «Я помню». Лютова, стоявшая рядом, сказала мягко: «Обычай, господа, есть обычай». Писари ведомства уткнулись в свои тетради.

И тут Тарас Кальдор, который стоял у крыльца в трёх шарфах — весной у нас ещё холодно, — громко, на весь двор, по-южному, сказал:

— А если на то пошло — она моя пара!

Тишина была такая, что слышно было, как с крыши капает.

Я обернулась. Тарас стоял у крыльца — красный, как его кафтан, — и смотрел не на меня, а на Бранимира. Бранимир смотрел на него медленно и спокойно — ледяной на огненного.

— Пара, — повторил Бранимир. — Это доказано?

— Это… — Тарас запнулся. — Это видно. Рядом с ней у меня пламя ровное. Всегда. У Кальдоров так — рядом с парой огонь не рвётся. Так у Эйдана было с Ярой.

— У вашего кузена, — сказал Бранимир, — это подтвердил Искрень. На солнцевороте.

— Подтвердит и у меня, — сказал Тарас.

— Когда?

Тарас не ответил. Он смотрел на Бранимира, и я видела, как у него на висках, у чёрных кудрей, проступило червонное — чешуя. У огненных драконов чешуя проступает от гнева, как у людей краска.

— Господа, — сказала Лютова. — Это двор детского дома.

Они замолчали. Писари записали.

Вечером того дня я нашла Тараса в стеклянном саду, у жаровни, одного. Он сидел на войлоке, обхватив колени, в трёх шарфах, и смотрел в огонь.

— Зачем? — спросила я.

— Не знаю, — сказал он. Не поднимая головы. — Он сказал «обряд». При всех. А ты стояла и молчала. И я… — Он пожал плечами. — У нас на Юге не стоят и не молчат.

— Ты сказал, что я твоя пара. При ведомстве. При Лютовой. При писарях, которые всё записывают.

— Я знаю.

— Это правда?

Он поднял голову. Огонь из жаровни отражался у него в глазах — тёмных, южных, с золотой искрой.

— Не знаю, — сказал он. — Правда, что пламя рядом с тобой ровное. Это правда. А пара ли — это Искрень решает, не я. Я сказал вслух то, что думал. — Он помолчал. — Я испугался.

— Чего?

— Что он тебя увезёт, — сказал Тарас просто. — На свою заставу. И ты будешь там учить одного Яроша, а тут закроют всё. И что я не успею.

— Не успеешь что?

Он не ответил. Посмотрел на меня, потом снова в огонь.

Я ушла тогда, не дождавшись. Я не хотела знать, что он не успеет. Мне хватало одного мужчины, который помнил за меня. Второй, который думал за меня, мне был не нужен.

С тех пор весь Север знал: за огненной наставницей из Стылого Зуба ходят двое. Один говорит — она дала ему слово. Другой говорит — она его пара. Оба драконы, оба из хороших домов. А она ничего не говорит, потому что не помнит.

Летом Мира написала мне, что слышала. Осенью написала ещё раз — что написала о нас одной женщине в столице, памятчице истины, которая теперь умеет отличать, кто помнит то, чего не было, от того, кто забыл то, что было. Что женщина ждёт ребёнка и, наверное, не приедет. Но, может, напишет.

Теперь была поздняя осень. И сорок дней.

Тарас нашёл меня в Добравином кабинете в седьмом часу, когда я уже переписала статью и сидела над доской, глядя на неё, как Олежка смотрит на задачу, которую не может решить.

Он постучал о косяк. Он всегда стучит о косяк — громко, костяшками, — хотя дверь открыта.

— Можно?

— Ты уже вошёл.

— Я стою на пороге. Это не вошёл. — Он вошёл. Посмотрел на сову. — Доброе утро, госпожа Ведомость. — Посмотрел на мою доску. — Тридцать первая. И 31-а. Ты уже до сватовства дочитала.

— Ты её знаешь?

— Мне её Лютова прочла, — сказал он. — Весной. После того, как я при всех сказал… ну. Она мне её прочла, вежливо, в коридоре, чтобы я понял, что по обычаю края я тут никто. Пара — это на Юге. А на Севере — костровое слово. — Он сел на Добравин табурет, который под ним скрипнул. — Что будешь делать?

— Узнавать.

— Что?

— Что я сказала. Кому. Зачем. — Я показала ему доску. — Как на уроке. Признаки. Свидетели. Следы.

Тарас посмотрел на доску. Потом на меня.

— Я помогу, — сказал он.

— Нет.

— Почему?

— Потому что ты — сторона, — сказала я. — Ты при всех сказал, что я твоя пара. Если ты будешь искать, и мы найдём, что слово было не Бранимиру, — все скажут, что ты подстроил. Если найдём, что Бранимиру, — все скажут, что ты прятал. И потому, что я не хочу быть тебе должна.

— Должна?

— Если ты поможешь, — сказала я, — я буду должна. А я не хочу. Я всю жизнь кому-нибудь должна. Приюту — за то, что кормил. Бане — за то, что взяли истопницей и не спросили, почему вода у меня греется быстрее. Мире — за то, что научила. Иветте — за то, что взяла. Ведомству — за то, что не посадило. Я не хочу быть должна ещё и тебе. Особенно тебе.

— Почему особенно мне?

Я не ответила. Тарас смотрел на меня, и я видела, как у него на висках проступает червонное — не от гнева, — и уходит.

— Хорошо, — сказал он. — Я не буду помогать. Я буду смотреть. Мне просто интересно, что ты сказала. Я не могу заснуть с весны, так мне интересно. Это не помощь — это любопытство. Любопытство не в долг.

— Тарас.

— Что?

— Уйди. Я думаю.

Он ушёл. На пороге обернулся и сказал:

— Сова, между прочим, смотрит на тебя с неодобрением.

— Сова на всех смотрит с неодобрением.

— На меня — с одобрением, — сказал он и ушёл.

Я посидела. Потом взяла мел и начала писать на обратной стороне доски. Как для урока.

«Что известно. 1. Огонь принял слово — видели все. 2. Голос был мой — Бранимир, Марфа. 3. Слова: "я тебя не отдам" — Бранимир. 4. Плащ — мой, синий, с красной подкладкой — Бранимир. 5. Бранимир окликнул "Велена" и что-то сказал через огонь — Марфа (не слышала что). 6. После слова я упала — Марфа, Савка».

«Чего не знаю. 1. Видел ли кто-нибудь моё лицо в ту минуту. 2. Что сказал Бранимир через огонь. 3. Кому я ответила. 4. Почему я выгорела. Слово огню не выжигает — я это знаю. Значит, я ещё что-то делала. Что?»

Последний вопрос я подчеркнула дважды, а потом, вспомнив Олежку, и третий раз.

Это было главное. Слово огню — не тяжёлое. Сказать слово у костра может любая девчонка из северной деревни, и ни одна не падает потом замертво. Чтобы выгореть, нужно отдать огню всё, что держишь. Я держу много. Мира говорила, что у меня колодец глубокий, «как у тех, кто долго прятался». Значит, в ту ночь я вычерпала его до дна. Не словом. Чем-то ещё.

Что я делала у костра, кроме слова?

«Ты стояла у самого огня. Он с той стороны».

У самого огня.

Я посмотрела на свои руки. На правую ладонь, где белел старый шрам — ещё из приюта, когда я в семь лет схватилась за раскалённую заслонку, чтобы никто не увидел, как у меня из пальцев идёт огонь, — и решила, что пусть лучше думают, что обожглась. Руки у меня после костра болели два дня. От кончиков пальцев до локтей. Так болят руки, которыми держали горячее. Долго. Не слово — огонь.

Я держала огонь — в ту ночь, у костра. Чей?

Я стёрла рукавом последний вопрос и написала заново: «4. Что я держала руками».

В тот день я трижды пыталась поговорить с Ташкой.

Первый раз — после завтрака, в столовой. Я подсела к ней, когда она доедала кашу, и спросила, как спала. Ташка сказала «хорошо», взяла миску и ушла её мыть, хотя миски у нас моют дежурные, и дежурной сегодня была Вьюна.

Второй раз — на уроке. Я задала ей вопрос — простой, про признаки выгора, — и она ответила. Правильно, полностью, слово в слово, как Олежка записал. Не глядя на меня. А когда я после урока сказала ей «останься на минуту», она сказала, что ей надо к Добравиной замене, на грамоту, — хотя грамота у старших была после обеда.

Третий раз — вечером. Я пришла к старшим девочкам в спальню, когда они ложились, — я всегда прихожу, гашу им лампу и говорю «доброй ночи», это у нас с первого дня. Вьюна уже спала, раскинувшись поперёк кровати. Нелька читала под одеялом при огоньке на ладони — я сделала вид, что не вижу. Ташка лежала лицом к стене.

Я села на край её кровати. Не близко — на краешек.

— Ташка, — сказала я тихо.

Она не ответила. Дышала ровно. Слишком ровно — так дышат, когда притворяются.

— Я знаю, что ты не спишь, — сказала я. — Я не буду ничего спрашивать. Я только хочу сказать: если тебе страшно — из-за того вечера, — это нормально. Мне тоже было бы страшно. Я упала при тебе. Ты, наверное, думала, что я умерла.

Плечо под одеялом дёрнулось.

— Я не умерла, — сказала я. — Видишь? Сижу. Ругаю тебя за то, что притворяешься. Значит, живая.

Ташка не повернулась. Но дыхание у неё сбилось — один раз, коротко, — и снова стало ровным. Слишком ровным.

Я посидела ещё. Потом встала, погасила лампу, сказала «доброй ночи» в темноту и вышла.

В коридоре меня ждал Ярош. В ночной рубашке, босиком, со свечкой в руке — настоящей, восковой, не огоньком, — он, кажется, стеснялся зажигать свой синий огонь при людях, даже при мне.

— Ярош? Ты почему не спишь?

— Госпожа Велена, — сказал он шёпотом. — Брат сказал, что вы ему обещали. Что вы будете у нас жить. На заставе. — Он смотрел на меня снизу вверх, серыми глазами Студенцовых, светлыми, как лёд на солнце. — Это правда?

— Я не знаю, Ярош, — сказала я. — Я не помню.

— А если правда, — сказал Ярош, — вы меня возьмёте? С собой? Если вы уедете, а отделение закроют, — меня ведь не на Юг отправят. Меня домой отправят. А дома… — Он замолчал.

— Что — дома?

— Дома говорят, что я порченый, — сказал Ярош совсем тихо. — Только брат так не говорит. Остальные — говорят.

Я присела перед ним на корточки. Свечка в его руке дрожала, и тени бегали по коридору.

— Ты не порченый, — сказала я. — Ты держал сегодня огонь весь урок. Синий. Ровный. Лучше всех. Порченые так не умеют.

— А если вы уедете?

— Я никуда не уеду, — сказала я. И осеклась.

Я сказала это не подумав — как обещание, как слово. Только здесь не было огня, и ничего не встало столбом, и Ярош не знал, что слово, которое не принято огнём, держать ещё труднее, потому что его некому засвидетельствовать.

— Иди спать, — сказала я. — Свечку не урони.

Он ушёл. Я стояла в тёмном коридоре и думала о том, что сказала. «Я никуда не уеду». Я сказала это ребёнку, которого боялась подвести. Не задумываясь. Как говорят то, что правда.

Наутро, на четвёртый день, я написала два письма.

Первое — Мире, в Нордхольм, коротко: «Сорок дней. Лютова. Не помню. Приедь, если можешь. Мне нужно знать про выгор то, чего я не знаю». Мира приедет — я это знала. Мира всегда приезжает. Она приехала ко мне в баню, четыре года назад, когда кто-то донёс в Комиссию, что у истопницы вода греется сама, — приехала раньше, чем Комиссия, и сказала: «Ну, покажи». И я показала, а она не забрала меня, а научила.

Второе — Иветте. В столицу, в ведомство. Сухо, по форме, как пишут в ведомство. «Прошу предоставить копии всех записей и отчётов северного отделения, касающихся Зимнего костра прошлого года у дома в Стылом Зубе, включая показания свидетелей, если таковые снимались».

Я перечитала. Подумала. И приписала ниже, не по форме: «Иветта, мне нужно знать, что я сделала. Я не помню. Пожалуйста».

Савка повёз письма на почтовую станцию в тот же день. Снег шёл третьи сутки.

Я стояла у окна и смотрела, как Савкины сани уходят по белому, и вспоминала доску: «Что я держала руками».

Внизу, во дворе, дети лепили снежную крепость. Такую же, как в прошлом году перед костром. Вьюна командовала, Олежка считал снежки, Лёвка и Нелька спорили, Тимка падал в сугроб и смеялся. Ярош катал ком — большой, ровный, старательно.

Ташка стояла в стороне, у стены, и не лепила. Смотрела на дом. На моё окно.

Я подняла руку — помахать ей.

Ташка отвернулась.

Глава 3. Свидетели

На пятый день я начала опрашивать свидетелей. По порядку, как учат дознавателей Комиссии и как я учу детей решать задачи: сначала то, что знаешь точно, потом то, в чём сомневаешься, и только в самом конце — то, чего не знаешь совсем.

Начала с Марфы. Потому что Марфа говорила больше всех, а кто говорит больше всех, тот обычно и видел больше, хоть и понимает меньше.

Марфа чистила репу в людской, у большой печи, и обрадовалась, когда я пришла и села рядом на лавку с доской. Она решила, что я пришла помочь, и сунула мне нож. Я почистила ей три репы — от этого она размякла окончательно, — и только тогда спросила.

— Марфа. Расскажи ещё раз про костёр. Только не как сказку. Как было. Где кто стоял.

Марфа вытерла руки о фартук и задумалась.

— Ну, — сказала она. — Костёр-то сложили на льду, у самого берега, где ельник. Большой, Савка три дня таскал. Как стемнело — зажгли. Я была с лепёшками, у стола, который мы на берегу поставили, — на санях, на полозьях, чтоб не проваливался. Это со стороны дома. Дети все были вокруг огня. Малые — ближе к саням, старшие — ближе к огню. Гости — с той стороны, где дорога. Студенцов там был, и ещё двое с заставы, и советница эта, Лютова, — она приехала к вечеру, сказала, по делам ведомства. И южанин твой…

— Он не мой.

— И южанин, который не твой, — согласилась Марфа без тени улыбки, — со своими старшими, сбоку, где ветер. Он ещё всё жаловался, что дует.

— А я?

— А ты у огня, — сказала Марфа. — У самого. В синем своём. Ты весь вечер бегала — то к детям, то к огню, то к столу. А потом стала у огня.

— Ты видела моё лицо? Когда я стояла у огня?

Марфа подумала.

— Не, — сказала она. — Ты спиной была. Ко мне. Лицом — к огню, к той стороне. Я видела плащ. Синий, с красным. И капюшон.

— Капюшон был на голове?

— Был, — сказала Марфа уверенно. — Холодно ж было. Ветер с озера.

Я записала: «Капюшон — на голове. Лица Марфа не видела». Подумала, что я никогда не ношу капюшон. Никогда, даже в мороз. Огненным не холодно — мы и в метель ходим с непокрытой головой, и Добрава вечно ругалась, что я простужу уши, а я смеялась, что у меня уши — печка. Но это ничего не доказывало. В ту ночь мог быть ветер, какого я не помню.

— А потом?

— А потом Студенцов крикнул: «Велена!» — сказала Марфа. — Громко. А потом ещё что-то, но я не слышала: ветер ко мне от него не шёл, а наоборот. А потом ты закричала. Ну, не закричала — сказала громко. И огонь встал. — Марфа всплеснула руками, и с ножа полетели очистки. — Столбом, Веленушка! Золотой! Выше ёлок! Я такого в жизни не видела, а мне шестьдесят лет, и я каждый год на костре! Все ахнули!

— А что я сказала, ты слышала?

— «Не отдам» слышала, — сказала Марфа. — Остальное огонь заглушил. Он загудел, как в трубе.

— А потом?

— А потом дым пошёл, — сказала Марфа, и лицо у неё стало серьёзное. — Чёрный. Повалил прямо на меня. Ничего не видать. А когда разнесло — ты лежишь. На снегу. У самого огня. Мы побежали.

— В плаще?

Марфа открыла рот. И закрыла.

— Не, — сказала она медленно. — Не в плаще. В тулупе. В сером. Савкином, что ли? — Она нахмурилась. — Ну, ты его скинула, наверное. Плащ-то. От жара. Огонь-то какой был.

— А плащ где был?

— Не знаю, — сказала Марфа. — Не до плаща было. Тебя на сани — и домой. Я и не смотрела.

Я записала. «Лежала — в сером тулупе. Плаща на мне не было». И подчеркнула.

Плаща я с той зимы не видела. Я об этом не думала — я думала, что он сгорел. Марфа тогда, в первые дни, сказала: «Плащ-то твой пропал, наверное, в костре». И я, лёжа ещё в постели, только кивнула. Мне было не до плаща.

Савку я нашла на конюшне. Он чистил Бранимирова коня — тот оставил его у нас на неделю: на заставе кузнец заболел, а у коня треснула подкова, и наш Савка обещал перековать. Савка говорил с конём ласково, длинно, мурлыкая, — а со мной, как всегда, будто платил за слово по медяку.

— Савка. Костёр. Ты где был?

— Дрова носил.

— Откуда?

— От саней. С берега. К огню.

— Значит, ты ходил вокруг огня?

— Ходил.

— Что видел?

Савка подумал. Почесал коня за ухом.

— Студенцов кричал, — сказал он. — «Велена!» И потом: «Позвольте…» — что-то. Дальше не слыхал. Я с той стороны был, с дровами, а ветер — от меня.

— «Позвольте» — и всё?

— И всё.

— А потом?

Савка перестал чесать коня. Посмотрел на меня. В первый раз за все годы, что я его знаю, он посмотрел на меня так, будто собирался сказать больше, чем на медяк.

— Девчонка визжала, — сказал он.

— Какая девчонка?

— Не видал. Из ваших. С той стороны, где старшие. Визжала — тонко, страшно. А потом — ты. «Я тебя не отдам». И огонь — вверх. — Он помолчал. — Я дрова бросил. Побежал. Дым был. Когда разнесло — ты лежишь. Тулуп на тебе мой.

— Твой?

— Мой, — сказал Савка. — Я его на санях оставил, на берегу. А он — на тебе. — Он опять взялся за коня. — Я подумал — замёрзла ты, взяла. Огненные не мёрзнут, я знаю. Но подумал.

Я стояла в конюшне и смотрела, как он чешет коня.

Сначала визжала девчонка, потом — я, потом — огонь.

Я записала. «До слова — визжала девочка. Из старших. Савкин тулуп — на мне. Савка оставил его на санях». И ниже: «Сани — со стороны дома. Значит, я была у саней. Значит, я взяла тулуп у саней. Значит, плаща на мне уже не было, когда я была у саней».

Я перечитала. Это было не доказательство, а дыра в рассказе. Как в задаче, где все цифры сходятся, кроме одной.

Груня подтвердила про сани. Она развешивала бельё на чердаке, и я поднялась к ней, и мы говорили среди мокрых простыней, которые парили в холоде.

— Я малых домой собирала, — сказала Груня. — Тимку, Олежку, близнецов. Вьюну тоже — она плакала, что хочет остаться, а я её за шиворот. Они замёрзли, да и спать пора. Мы их в сани сажали, на берегу.

— А Ташка?

— Ташка осталась, — сказала Груня. — Она ж старшая. Ей хоть десять было, а старше всех. Ей можно было до конца.

— А Ярош?

— Ярош с братом был. На той стороне.

— Ты меня видела у саней?

Груня нахмурилась, повесила простыню.

— Видела, — сказала она. — Ты прибежала. Схватила Савкин тулуп. Я ещё подумала — зачем, огненным-то. А ты его схватила — и обратно к огню. Бегом.

— В плаще?

— Не, — сказала Груня уверенно. — Без плаща. В платье. Я ещё подумала — где плащ-то? Ты же его весь вечер не снимала.

— А кто был в плаще? Ты видела у огня синий плащ?

Груня подумала.

— Видела, — сказала она. — У огня кто-то в синем стоял. Я думала — ты. А потом ты ко мне прибежала без плаща. А в синем — стояла у огня. — Она пожала плечами. — Я подумала — показалось. Темно ж было.

Я стояла среди мокрых простыней. Пар от них поднимался вверх, к стропилам, и таял.

Два человека в одном месте. Я — у саней, без плаща, в платье. Кто-то — у огня, в моём плаще, в капюшоне.

Я записала. Рука у меня не дрожала — я следила.

«У огня в синем плаще стоял кто-то. Не я. Я была у саней, без плаща. Взяла тулуп Савки. Побежала к огню».

Зачем мне тулуп? Огненные не мёрзнут.

Я подчеркнула.

Детей я опрашивала на шестой день, вместо урока. Я сказала им, что сегодня у нас «урок дознания» — как в Комиссии. Что я буду спрашивать про прошлый костёр, а они будут вспоминать и рассказывать, и что за каждую правдивую мелочь — пять. Дети пришли в восторг. Вьюна потребовала, чтобы её допрашивали первой, «как главную свидетельницу».

Вьюна, Олежка, Тимка, Лёвка и Нелька уехали в санях с Груней раньше, чем вспыхнуло пламя. Они видели его из саней — издали, с берега: «Как свеча! Только огромная!» — сказал Тимка. Олежка записал, что пламя было «золотое, а сверху белое», и что это значит — кто-то держал очень много огня. Я поставила ему пять. Лёвка сказал, что слышал визг. Нелька — что не слышала, а Лёвка врёт. Лёвка сказал, что Нелька глухая. Обоим — «два» за склоку, «пять» за честность.

Ярош рассказал про брата.

— Мы стояли с той стороны, — сказал он. — Где дорога. Брат меня за руку держал. Там дым был, всё время, ветер на нас. Брат увидел вас — ну, синий плащ, — и крикнул. «Велена!» А потом: «Позвольте мне ходить к вам по-людски. И просить по весне». — Ярош покраснел. — Это так у нас сватаются. На заставе. «Ходить по-людски» — это значит, что не силой, а как положено.

— А я ему что?

Ярош помолчал.

— Вы ничего, — сказал он. — Сначала ничего. Он ждал. А потом кто-то закричал, тонко. И вы сказали — «я тебя не отдам». Только… — Он нахмурился. — Только не оттуда, где плащ. Чуть сбоку. Мне так показалось. Ну, может, ветер.

— Ты брату это говорил?

— Говорил, — сказал Ярош. — Весной. Он сказал — ветер. Что на льду голос всегда в сторону уносит.

Я записала: «Ярош: голос был не оттуда, где плащ. Сбоку. Брат: ветер». И подчеркнула. Ярош смотрел на меня с надеждой.

— Это важно?

— Это пять, — сказала я. — С плюсом.

Ташка была последней.

Она сидела на войлоке, обхватив колени, — так же, как сидел весной Тарас у жаровни, — и смотрела в пол. Остальные уже ушли — я их отпустила, чтобы спрашивать её одну, без свидетелей. Потому что если она скажет что-то, чего не хочет говорить при всех, лучше пусть скажет мне.

— Ташка. Ты где была, когда вспыхнуло пламя?

— У саней, — сказала Ташка. — С Груней.

Я посмотрела на неё. Она смотрела в пол.

— Груня сказала, что ты осталась, — сказала я мягко. — Что ты старшая и тебе можно было до конца. Что она увезла малых, а ты осталась.

Ташка молчала.

— Ташка.

— Я забыла, — сказала Ташка. — Я не помню. Я была у саней, а потом пошла к огню. Или наоборот. Я не помню.

Она не смотрела на меня. Огня у неё над ладонью не было — я не просила зажигать, — но я видела, как у неё побелели костяшки пальцев на коленях.

— Ты слышала, как кто-то визжал? — спросила я.

Ташка вздрогнула всем телом, как от удара.

— Нет, — сказала она. — Не слышала. Можно я пойду?

Я смотрела на неё. Одиннадцать лет. Худая, длинноногая, с тёмными, коротко обрезанными волосами — она сама их обрезала весной, ножницами, криво, и Добрава ругалась, а я не стала. С рваным огнём, который то спит, то рвётся. С побелевшими костяшками.

Я могла спросить ещё. Я могла взять её за руку и спросить, глядя в глаза, и она бы, наверное, не выдержала. Дети не выдерживают, когда взрослый, которому они доверяют, смотрит в глаза и ждёт.

Но она мне больше не доверяла. С прошлой зимы. И если я сейчас возьму её за руку — она вырвется. И больше никогда не даст.

— Иди, — сказала я. — Спасибо.

Ташка вскочила и убежала. Я сидела одна на войлоке, у остывшей жаровни, с доской на коленях.

Я записала: «Ташка: "у саней" — потом "не помню". Визг — "не слышала" (вздрогнула)». И не подчеркнула — не хотела, не знаю почему.

Тарас пришёл ко мне сам, на седьмой день. Не в кабинет — в сад, к жаровне, где я сидела над доской. Сел рядом на войлок, в трёх шарфах, и сказал:

— Я свидетель.

— Ты сторона.

— Я сторона, — согласился он. — И я свидетель. Одно другому не мешает. Ты опросила всех, кроме меня. Это нечестно. Нечестно по отношению к задаче.

Я посмотрела на него.

— Ладно, — сказала я. — Где ты стоял?

— Сбоку, — сказал он. — С моими старшими. Где ветер. Там всё время дуло, и я грел их — ну, не грел, просто стоял рядом, чтоб от меня тянуло. Я видел тебя весь вечер. Ты бегала.

— Ты видел меня у огня в синем плаще?

Тарас помолчал.

— Я видел синий плащ у огня, — сказал он. — Я подумал, что это ты. А потом кто-то завизжал — тонко, у огня, с той стороны, где были старшие. И тут ты пробежала мимо меня. С берега, без плаща, с каким-то тулупом в руке — не на тебе, в руке. И побежала — не от огня. В огонь. Прямо в него. — Он смотрел на меня. — Я никогда не видел, чтобы человек бежал в огонь. Даже огненный. Даже Эйдан. Я подумал, что ты сошла с ума.

— А потом?

— Потом пламя встало, — сказал Тарас. — И я тебя потерял. Дым. Когда разнесло — ты лежала. В тулупе. А рядом…

Он замолчал.

— Что — рядом?

— Не помню, — сказал он. — Честно. Там все сбежались. Люди, дети. Я бежал к тебе, и меня Лютова за руку схватила. Сказала — не подходите, вы огненный, вы её ещё сильнее выжжете. — Я её послушал. До сих пор не прощу себе.

— Она была права, — сказала я. — Выгоревшего огненного нельзя трогать огнём.

— Я знаю, — сказал Тарас. — Всё равно не прощу.

Я записала: «Тарас: я пробежала мимо него с тулупом в руке — к огню. Визг — у огня, со стороны старших. Я — в огонь. Лютова была рядом, когда я лежала».

— Тарас, — сказала я.

— Что?

— Спасибо.

— Это не помощь, — сказал он быстро. — Это свидетельство.

— Я знаю. Спасибо за свидетельство.

Он посмотрел на меня. У него на висках проступило червонное — и ушло.

Бранимир приехал на восьмой день — неделя, как всегда.

Я ждала его у ворот. Он оставил коня — вернее, коня у него не было: свой стоял у нас на перековке, а этого он взял на заставе, гнедого, низкорослого, и выглядел на нём, как медведь на собаке, — и подошёл на три шага.

— Госпожа Искрова.

— Господин Студенцов. У меня к вам вопросы. Как к свидетелю.

Он не удивился. Кивнул.

— Спрашивайте.

— Где вы стояли?

— На северной стороне. У дороги. С Ярошем. Ветер был на нас — с озера, через огонь. Дым шёл на нас всё время.

— Что вы видели?

— Синий плащ, — сказал он. — С красной подкладкой. У огня, на южной стороне. Капюшон на голове. Спиной к огню… нет. Боком. Лицом к старшим детям. — Он подумал. — Я крикнул «Велена». Плащ не обернулся. Я подумал — не слышит, ветер от неё. И сказал громче — то, что хотел сказать с осени.

— Что?

Он помолчал. Тяжело, медленно, будто поднимал камень.

— «Позвольте мне ходить к вам по-людски, — сказал он. — И просить вас по весне». — Он смотрел мне в глаза. — Так у нас говорят на заставе. Это не сговор. Это просьба о сговоре. Я хотел, чтобы вы знали — до весны, — что я буду просить.

— И я ответила.

— Сначала — нет, — сказал Бранимир. — Плащ молчал. Я думал — не услышали. Или — услышали и молчат. Это тоже ответ. Я хотел уже отойти. А потом — ваш голос. Громко. «Я тебя не отдам». И огонь встал.

— Откуда был голос?

Он помолчал.

— Ярош говорит — сбоку, — сказал он. — Я говорю — ветер. На льду голос уносит.

— А лицо?

— Лица я не видел, — сказал он прямо. — Ни до, ни после. Дым. Огонь. Капюшон. Я вам это говорил весной. Я видел плащ и слышал голос. Голос — ваш. Я его знаю.

— И вы решили, что «я тебя не отдам» — это мне ответ.

— Я задал вопрос, — сказал Бранимир. — Мне ответили. Огонь принял. — Он помолчал. — Как бы вы решили на моём месте, госпожа Искрова?

Я не ответила. Я бы решила так же.

— Когда вы подбежали, — сказала я, — на мне был плащ?

— Нет, — сказал он сразу. — Тулуп. Серый, овчинный. Я подумал — сняли, когда несли. Или вы сами скинули. От жара.

— А плащ вы видели? Потом? Где-нибудь?

Бранимир подумал. Долго. Он всегда думает долго, честно, до самого дна.

— Нет, — сказал он. — Не видел.

— А кто стоял рядом со мной, когда я лежала?

— Дети, — сказал он. — Наставники. Ваша повариха. Советница Лютова. — Советница Лютова потом подошла ко мне. Когда вас увезли. Сказала, что видела всё. Что слово ваше, по обычаю, — моё. Что я вправе требовать. Что, если не буду требовать, — обычай сочтёт, что я отказался. — Он смотрел на меня спокойно. — Я не хотел требовать от больной. Я ждал. Весной спросил при всех — потому что советница сказала: по обычаю, слово надо напомнить при свидетелях до Ледолома, иначе оно слабеет.

Я записала медленно: «Лютова — рядом, когда я лежала. Сказала Б.: "слово ваше". Сказала: напомнить до Ледолома при свидетелях». И подчеркнула. Дважды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.